

Николай Александрович Бестужев

Шлиссельбургская станция



Николай Александрович Бестужев Шлиссельбургская станция

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4658823

Аннотация

«Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать, но должно было заплатить дань старине. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: „садись“, – сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию...»

Содержание

Николай Александрович Бестужев

Шлиссельбургская станция

Истинное происшествие

(Посвящено А. Г. Муравьевой)

*Одна голова не бедна,
А и бедна – так одна.
(Старинная пословица)*

1

¹ Рассказ впервые опубликован в кн.: Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева. М., 1860, с. 447–481, с многочисленными цензурными пропусками и под заглавием «Отчего я не женат». В 1858 году старшая сестра Бестужевых Елена Александровна хотела напечатать его в журнале «Семейный круг», однако публикация была разрешена только при условии, что имя автора не будет упомянуто. На это Е. А. Бестужева не согласилась (см.: Воспоминания Бестужевых, с. 807). По рукописи, с восстановлением пропущенных цензурой мест напечатан М. К. Азадовским в указанном издании (с. 539–572). В настоящем издании перепечатывается этот текст. Историк М. И. Семевский, собиравший материалы о декабристах и писавший биографию Н. А. Бестужева, интересовался подробностями его жизни и обратился к М. А. Бестужеву с серией вопросов. На вопрос «Когда написан рассказ „Отчего я не женат?“ и кто его героиня?» М. А. Бестужев отвечал следующее: «Я выше описывал Вам казематскую эпоху, когда более всего процветала мода на литературные произведения, чтение коих, кроме литературных собраний, происходило в присутствии наших дам. Они часто, видя, как

Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из

брат Николай любит детей, и видя, как умеет привязать к себе каждого ребенка и по целым часам резвится и забавляет их, то подымая содом на весь дом, то рисуя им картинки или делая замысловатые игрушки, – они часто спрашивали его, почему он не женат? „Погодите, – часто отвечал он, – я вам это опишу“. И когда они приступили с решительностью и взяли с него слово, он написал эту повесть. Но так как ему не хотелось сказать истины вполне, не хотелось обнажать своей заветной любви пред чужими взорами, он выставил подставное лицо героини повести, в описании которой, впрочем, невольно отразился колорит характера любимой им женщины. Вставленный в эту повесть рассказ о домовых – истинное происшествие» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 208–209). Под «казематской эпохой» М. Бестужев имеет в виду пребывание в Петровском заводе, куда декабристы прибыли из Читинского острога 23 сентября 1830 года. Рассказ посвящен Александре Григорьевне Муравьевой, которая скончалась в 1832 году. Это посвящение и сведения, которые сообщает М. Бестужев, позволяют датировать этот рассказ первыми годами пребывания в Петровском заводе, то есть концом 1830–1832 годами. На вопрос Семевского о героине повести М. Бестужев не дает прямого ответа, то есть не называет ее имени, но из некоторых замечаний его можно понять, что речь идет о Л. И. Степовой – жене генерал-директора Штурманского училища в Кронштадте, которую связывало с Н. Бестужевым глубокое чувство. Тому же Семевскому М. Бестужев писал: «Мне кажется, что <...> еще несвоевременно вводить в биографию брата самый интересный эпизод из его жизни, именно его любовь к единственно любимой им женщине, исключая разве порыв страсти к молодой прекрасной девушке (Августа Шт, ь...), на которой он даже хотел жениться вскоре после выпуска из корпуса и которая неожиданно была похищена смертью» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 385). Сохранился черновик письма Н. Бестужева к Степовой, написанного из Голландии: «Все, что есть у меня сейчас дорогого, – это ваш медальон, который я ношу, лента, которую вы мне дали для часов, и я даже нахожу удовольствие, вдыхая еще оставшийся в моем (неразб.) запах ваших духов, и мне кажется, что вы рядом со мной, потому, что это ваш любимый запах... Теперь я надеюсь уже скоро увидеть вас. Может быть еще три-четыре месяца, и я буду иметь счастье прижать вас к своей груди. Прощайте. Знайте, что я никогда не изменю вам. Прощайте» (Бестужев Н. Статьи и письма.

Петербурга, по делам матери моей, в Новую Ладугу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила: «по окончании дел в Ладуге, как я тебе сказала, ты должен заехать к нашим соседям Н. и С... Я хочу того: во-первых, потому, что дома наши связаны старинной дружбою, во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть, судьба укажет тебе на которую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя. Ты знаешь всегдашнее мое желание – видеть тебя женатым: я возрастила и воспитала тебя в надежде нянчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже тридцать два года, и до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполнением любимой моей мечты – видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись холостой старости; я не уважаю старых холостяков!» Мать моя плакала, говоря эти слова; я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ею невест, и мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство.

Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сестра на тележку и ехать, но должно было заплатить дань стари-

не. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: «садись», – сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтоб я не забыл ее советов, простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, спрыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелуи рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек.

Итак, меня посылают выбирать невесту! Матушка серьезно хочет меня женить; но об этом надобно подумать да подумать поскорее; в самом деле, в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать?

Но если б спросили меня, что я думал дорогою? – я бы отвечал: ничего! На почтовой тележке не так-то ловко размышлять: того и смотри, чтоб не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня, дождь и ветер крепче закутывали в шинель, и я чаще повторял ямщику: «пошел».

За мной остались Пелла и Славянка; я уже подъезжал к Шлиссельбургу, но как человек, служивший на море и ред-

ко имевший случай ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между сухопутным и водяным сообщением, хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопутствуемый прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом, но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья; желтые листья, сорванные ветром, неслись с дождем, перегонял мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург! Мы въехали в город, и, странное дело! первый предмет, привлечший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика: водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать было, – отвечал он, – а эта уже четвертый год, каждую весну здесь выводит детенышей и улетает осенью на теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь, ей давно пора лететь». – Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду, – сказал я, слезая у почтового дому с

повозки и стряхивая шинель, с которой текла вода ручьями!

Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне, и как я ни представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее как через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрягали в мою повозку. Дождь не переставал; крупные капли стучали в окна и лились ручьями по стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною; пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи, от усталости; они стояли, опустя головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки; не менее того он производил на меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания. Но человек предполагает, а бог располагает: послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в шесть лошадей, а за нею повозка прискакали к станции. Минута ранее – и я бы уехал; теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая, – и следовательно мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, а я снова остался горевать в ожидании.

Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел разговор о нашей морской службе; рассказывал о поручении, ему сделанном, и очень скромно похвалился, что из данных ему трех миллионов на вспоможение он не истратил ни копейки. Когда же перепрягли карету, он с большою деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал.

Исчезла и моя надежда на скорую отставку. Все лошади, сытые и голодные, повезли сенатора, а мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий, теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться с своею квартирою и хозяевами. От нечего делать я начал осмотр: небольшая комната была разгорожена надвое; передняя служила и присутственным местом, и спальней смотрителю; в ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном – стол; у разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, на половину для проезжих, где и мебель была незамысловатее: кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола, стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, в другом – шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых чашек разной фигуры с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостью, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок, над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все над-

писи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти: *Кутузов прими не лестный света глаз!*²

Что это, не намек ли?..

Начинало смеркаться; я велел внести мою шкатулку и подать чаю; подойдя к окну, я рассматривал, сколько позволяла погода, представлявившуюся мне картину. Через дома на противоположной стороне улицы проглядывали по временам, сквозь дождь, стены и башни Шлиссельбургского замка, поставленного на острове посреди Невы, при самом ее истоке из Ладожского озера... Полосы косога ливня обрисовывали еще мрачнее эту и без того угрюмую громаду серых плитных камней; влеве Нева терялась за домами; вправо озеро глухо ревело, переменяя беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе порывов и густоте дождя, – и я в первый раз дал свободу своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувство развивалось во мне при виде этих башен. Я думал о сценах, которых стены были свидетелями, о завоевании Петра и смерти Ульриха³, – о вечном заключении несчастных жертв деспотизма. Мысли невольно останавливались на

² Этот портрет гравирован известным художником Карделли. Его же гравирования есть два эстампа: путешествие Екатерины по России и восшествие на престол Александра I.

³ *Ульрих* – Иван VI Антонович (1740–1764), русский император, свергнутый с престола в годовалом возрасте. Впоследствии был заключен в Шлиссельбургскую крепость и убит при попытке офицера В. Я. Мировича освободить его.

последних: может быть, думал я, много страдальцев гниет и теперь в этой могиле. Сколько человек, мне известных, исчезли из общества, и тайна их участи осталась непроницаемой. Но за какие преступления, за что, по какому суду осуждаются они на нравственную смерть? Все, что относится до общества и его постановлений, до частных людей и сношений их, ограждено законами; преступления против них публично наказаны; но здесь лица бессильны, преступления их тайны; наказания безотчетны, и почему?.. Потому что люди служат безответною игрушкой для насилия и самоуправства, а не судятся справедливостью и законами. — Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строящее здание храма законов, потребует отчета в законности и Бастилии и Шлиссельбургов и других таких же мест, которых одно имя возмущает душу? Люди! Люди! Вы привыкли сами спутывать себя узами, вы привыкли носить цепи; властелины ваши знают это и накладывают на вас новые тяготы; вы думаете, что этому так быть надобно. Горе вам, если вы этому не верите. В таком настроении духа я сел за чайный столик.

Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согре-

вает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камины, около которых во Франции и Англии собираются кружки.

Чтобы составить кружок, я пригласил к чаю смотрителя и его жену. Хозяйка, которой наряд состоял в повязке на голове и камлотовой юбке, принимая мое приглашение, набросила на плечи черный шелковый платок и скинула головную повязку, чтобы показать, что она не из простых, а носит коосу с воткнутым в нее роговым гребнем. Она пила чай вприкуску; после четырех чашек с крайнею учтивостию опустила назад в сахарницу обгрызок сахара, оставшийся от ее экономных зубов.

– Давно ли вы здесь на станции? – спросил я смотрителя.

Он хотел отвечать, но как в эту минуту он только что хлебнул горячего чаю, то ответ его выразился одним невнятным звуком и потом кашлем. Словоохотная хозяйка предупредила его: «О зимнем Миколе, батюшка, будет восемь лет, как мы попали на это место, и восемь лет мыкаем горе на этой станции; тракт малоезжий; купечество ездит на долгих или на наемных; а кроме купцов только офицеры да фельегари».

– Куда же ездят эти фельдъегери?

Смотритель хотел было отвечать, но жена перебила и не смотря, что он кивал головою, раза два крякнул, она продол-

жала:

– Куда? Прости господи! Не ближе и не далее здешнего места... Разве, разве, что в Архангельск; да туда пусть бы их ехали с богом, а то не пройдет месяца, чтобы не привезли в эту проклятую крепость на острове какого-нибудь беднячьего арестанта.

– И вы выдаете этих арестантов?

– Куда тебе! Нет, родной, никогда не выдаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег, не заезжая сюда. Я бегала не раз на реку, да только и видела, что повозку; жандармы и близко не подпускают; фельдгарь крикнет с берегу – с крепости зарычат каким-то дивным голосом; приедет катер: сядут, поедут, и бедняжка как в воду канет. Только по утру, как снег на голову, наскочит подраться да побраниться, да уехать, не заплатив прогонов...

– Что же у вас говорят, как живут арестанты?

– Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей не рассказывают – а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человечья виденья нет: худы, да тощи, да бедны, – и они, бедняжечки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят; а станем пытаться, так я не раз видела, как иного дрожь возьмет, а все толку не добьешься. Видно, что страшно.

– Ваше высокоблагородие, – начал, закашляв, смотритель, – это... – но жена не дала ему кончить и прервала снова, по почти шепотом: – Говорят, что там тюрьмы как ко-

лодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно как в могиле; каждый сам по себе, и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжечка не слышит никогда ни голгоса, не видит ни лица человеческого: только он да часовые кругом.

– Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?

– Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю, да и оставит умирать *своею смертию*.

Сколь ни нелепы были рассказы хозяйки, но, откинув преувеличения, откинув то, что относилось к мучениям физическим, достаточно быть похороненным заживо в этом гробе, чтобы с нравственными страданиями намучиться, умирая *своею смертию*.

Я встал из-за чая в неприятном расположении духа, спросил о лошадях и на отрицательный ответ начал ходить по комнате; здесь мне впервые после выезда пришло в голову желание матушки, чтоб я женился. Странное сцепление идей! Но в этом случае мысль, перебегая, с предмета на предмет, невольно обращалась к тем, которых лишение было бы последствием исполнения печальных моих предчувствий. «Матушка хочет этого, – думал я, – это естественно; я сам чувствовал пустоту в сердце, мне чего-то недоставало, даже в кругу милого мне семейства, между достойных моих сестер и братьев. Я думал об этом, когда страсти мои вол-

новались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал; но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. С тех пор воображение сделалось прихотливее, вкус разборчивее, чувства не так пылки. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моею мечтой. За всем тем, безумный! я еще думал жениться! Теперь я вижу яснее, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранной мною подругой жизни!..»

«Я собственность благородного предприятия; я обручен особым союзом – и так могу ли я жениться? Стоя на зыблющемся волкане, захочу ли я привлечь к себе подругу, избираемую для счастья в жизни нашей, чтобы она, не зная бездны под ногами своими, вверилась мне и вверглась вместе со мною в пропасть, ежеминутно готовую раззинуться».

Так я рассуждал, а между тем дождь усиливался, ветер свистал в окошки, на дворе стало совсем темно, а лошадей все еще не было. Наконец, я решился остаться ночевать, несмотря на свою скуку, потому что ехать ночью, в такую погоду, еще скучнее. Зажгли свечи, я открыл шкатулку; со мною было английское Стерново⁴ «Чувствительное путеше-

⁴ *Стерн* Лоренс (1713–1768) – английский писатель сентиментального направления. Оказал огромное влияние на русскую литературу начала XIX века. В сочинениях и письмах декабристов часто встречаются образы и цитаты из произведений Стерна. Так, например, М. И. Муравьев-Апостол писал: «Из всех писателей, которых я читал в своей жизни, больше всего благодарности я питаю, бесспорно, к Стерну. Я себя чувствовал более склонным к добру каждый раз, что

ствие»; я развернул книгу и сел читать: как нарочно, открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

«...я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению.

Я начал миллионами мне подобных, но находя, что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение.

Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что он был бледен и истомлен лихорад-

оставлял его. Он меня сопровождал всюду... Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднимали на смех» (Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма. Предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. Пг., 1922, с. 15). Подобные высказывания можно найти и у других декабристов (см.: Азадовский М. К., Стерн в восприятии декабристов. – В кн.: Бунт декабристов. Л., 1925). Эпиграф из Стерна предпослан повести Н. Бестужева «Русский в Париже 1814 года». «Сентиментальное путешествие» Стерна Е. А. Бестужева передала брату Николаю перед отправкой его в Шлиссельбургскую крепость. М. Бестужев рассказывал Семевскому: «Стерново путешествие и Театр Расина сестра Елена умудрилась заложить между бельем в небольших чемоданчиках, дозволенных нам взять с собою при отправке нас в Шлиссельбургскую крепость и точно, первая для брата, а вторая для меня не только служили единственной отрадой в гробовой жизни, но, может быть, спасли нас от сумасшествия» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 206).

кою. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время – и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети...

Но здесь мое сердце облилось кровью, – и я принужден был приступить к другой части моего изображения.

Он сидел в углу на небольшом пуке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним – и как я заслонял последний свет, доходивший до него, – он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он повернулся, чтобы положить палочку в связку с другими. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу, – я залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением...»

Боже мой, в двадцатый раз читаю я это место, но еще впервые оно так на меня подействовало! Рассказ хозяйки, картина Стерна, задержка лошадьми, собственные предчувствия... мне кажется, что Шлиссельбург уже обхватывает и душит меня как свою добычу. «Так, – сказал я сам себе шепотом, боясь, чтобы меня не подслушали. – Я имею полное право ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За

мною есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой великой пытке. Я всегда думал только о казни, но сегодня впервые явилась мысль о заключении».

Долго я ходил по комнате, приучая воображение к тюремной жизни, страшно проявлявшейся в разных образах предо мною; наконец фантазмагория моих мыслей прояснилась, припомнив, что года три или четыре назад, познакомясь с комендантом Шлиссельбургской крепости, я отвечал на зов его к себе в гости, что постараюсь сделать какую-нибудь шалость, за которую провинность доставят меня к нему на казенный счет. Тогда я еще не имел в виду цели, которая могла бы оправдать мою шутку.

Я сел снова к столу, взял лист бумаги, чертил на нем разные фигуры, карикатурил знакомые лица, читал опять Стерна, писал на него сентенции, свои мысли; рисовал узника в темнице, чертящего на палочке заметку, думал о желании матушки, вставал, ходил, наконец погасил свечу и, скинув сюртук, бросился в постель, чтоб уснуть; но сон бежал моих глаз, – я только что вертелся с боку на бок.

В другой комнате хозяйка лежала нераздетая на своей кровати и храпела; супруг ее сидел за столом и читал вслух четьи-минеи, и это чтение имело усыпительное действие на хозяйку: как скоро он понижал голос или переставал читать, чтобы понюхать табаку из стоявшей подле него берестовой тавлинки, она переставала храпеть, начинала шеве-

литься или совсем просыпалась. Я сначала думал, что расстановки в чтении делаются неумышленно; однако, взглянув в висевшее над столом зеркало, в котором отражался мой хозяин, увидел, что каждая остановка сопровождалась покушением встать. Но как скоро он замечал, что любезная его половина просыпалась, он садился снова и начинал читать громче прежнего. Наконец после многих опытов, когда убедился, что чтение подействовало как следует, тогда, сняв очки и спустив туфли, он на цыпочках вошел в мою комнату, посмотрел, сплю ли я, отворил шкаф, взял безногую рюмку, налил в нее из штофа водки, выпил, отломил корочку хлеба, посолил, съел и отправился тем же порядком на свое место. Та же комедия начиналась снова: жена по временам просыпалась, делала кой-какие вопросы, он отвечал чтением и таким образом сходил в шкаф в другой и в третий раз; но после этого бодрость его видимо увеличилась: он перенес к себе весь штоф, положил подле себя хлеб, воткнул в него безногую рюмку и начал попивать, закусывать, читать нараспев, икать и заикаться при житии Иоанна Постника.

Меня занимало праздничанье этого доброго человека; по крайней мере при бессоннице лучшего нечего было делать. Изменническое зеркало передавало мне верно все наслаждения и все забавные страхи хозяина. Наконец он заснул в очках на носу над книгою, а я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между тем какой-то женский идеал носился в моем вооб-

ражении против моей воли и занимал меня до 10 часов.

В это время между порывом бури послышался колокольчик. Через несколько минут застучали по мостовой колеса, раздался на крыльце крикливый женский голос, и вслед за тем передняя комната наполнилась людьми. Я различал женские и мужские голоса; зеркало передавало мне мимолетные черты, потому что люди шевелились, переходили с места на место, но я не мог никого рассмотреть. Хозяйка вскочила; зритель проснулся, встал и, опершись на стол руками, повторил обыкновенный свой напев: «ло-ошадей не-т-с!»

Тоненький и светлый женский голос, который приятно отозвался в моем ухе, отвечал ему, что они едут на своих и остановились поправить карету, испортившуюся от дурной дороги. Тот же голос приказал слуге поспешить поправкой, чтобы скорее ехать вперед.

– Помилуйте, Любовь Андреевна, – вскрикнул другой женский голос, не перестававший лепетать ни на одно мгновение, – *я говорила*, что по эдакой дороге нельзя ехать. Песок, дождь, слякоть, ветер; мудрено ли, что карета изломалась. *Я говорила*, что лучше бы остаться нам за Черною; *я говорила*, что придется нам здесь маячить; так уж лучше хорошенько здесь отдохнуть и со светом пуститься в дорогу. *Я говорю*, что ночью худо починивать карету, когда ни зги не видно, а ветер задувает свечи даже в каретных фонарях. *Я говорила*, что это преставление света.

– Любезная Анисья Матвеевна, мы здесь ночевать не бу-

дем; вам же все равно в карете, – идет ли дождик, или светит месяц. Вы там сухи и спите, кажется, покойнее, нежели в постеле.

– Господи боже мой! покойнее, нежели в постеле! да вы спросите, – как у меня души не вытрясло из тела? *Я говорила*, что с вами не сговоришь. *Говорила я*, что эти молодые барыни не хотят слушать ни разума, ни совета; да по крайней мере, отдохните и успокойтесь хоть минуту, а то я *говорю* вам, что вы приедете в Питер на себя не похожи.

– Я не устала и не хочу отдыхать, я спокойна только буду в Петербурге. Ложитесь вы и не сердитесь, когда разбуду вас чрез полчаса, – вероятно карета в это время будет готова.

Толстая женщина лет сорока, довольно неприятного вида, вошла ко мне в комнату, ворча, со свечою. Я не намерен был уступать этой даме на полчаса постели и потому притворился сонным, избегая необходимости встать, надевать сюртук, рассыпаться в учтивостях, тогда как мне покой был нужнее, чем тем, которые ехали в карете. Анисья Матвеевна подошла прямо к кровати; увидев меня, ахнула, перекрестилась с испугу, но, разглядев человеческий образ, начала употреблять воинские хитрости, чтобы выжить меня из позиции. Она говорила очень громко, кашляла, встряхивала перед моим носом свой салоп, так что брызги летели на меня, но ничто не помогало. Я лежал закрыв глаза. Я внутренне смеялся ее отчаянию.

Между тем другая дама вошла также в комнату и, увидя

хлопоты своей спутницы, сказала ей потихоньку, что ей не для чего на полчаса беспокоить, вероятно усталого, проезжего и что ежели она хочет спать, то может лечь на софу.

Крикливая моя неприятельница удалилась к софе, бормоча, подложила себе разных свертков и узелков в голову, легла и, разговаривая и по временам повторяя: *я говорила, я говорю*, – заснула.

Пока она возилась, молодая приезжая дама стояла, оборотясь к ней и, наконец, когда та улеглась, взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец, и поправить – я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, – я увидел в зеркале – боже мой, что я увидел! Черты такие, в какие всегда я облакал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки; надобно было привести их в порядок: они уложены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна – это могло быть с дороги, – впрочем, эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз.

Локоны были убраны, свечка поставлена на стол, и молодая незнакомка начала ходить по комнате с сложенными руками и опущенною головою. Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление. Со мною что-то случилось необыкновенное; я тысячу

раз жалел, что не встал и не уступил места воркунье Анисье Матвеевне. Теперь, думал я, каким образом встать? как без замешательства явиться в полуодежде? как извиниться и к чему я теперь все это сделаю? – Все это было очень неловко, и я продолжал лежать с полузакрытыми глазами, боясь проронить малейшее движение милой путешественницы.

Она была в черном платье. Почему, думал я, это дорожное платье, но не вдова ли она? В эту самую минуту непослушные локоны рассыпались опять, и снова надобно было поправить их. Тут увидел я на левой ее руке одно только узенькое золотое кольцо – это верно вдова; сказал я сам себе.

На столе, куда она положила свою шляпу и чепец и теперь становила опять свечу, была открытая моя шкатулка; подле нее открытый Стерн, листок бумаги, исписанный и измаранный во всех направлениях, и, наконец, моя подорожная. Это обратило внимание незнакомки; она села – взглянула на книгу, на меня, потом взяла ее, посмотрела заглавие, бросила на меня любопытный взгляд, как бы желая узнать, – что это за оригинал, читающий такую старину? Я не изменял своей роли – лицо мое было полузакрыто рукою, чтобы ловче было видеть, не давая подозрения, что гляжу обоими глазами. И так она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна.

Стало быть, она знает по-англински?

Стерн открыт был на том самом месте, где я оставил чтение, заметив карандашом на поле: «ужасно!» Незнакомка поднесла книгу ближе к свечке, чтоб рассмотреть это заме-

чание, оборотила листок и начала с описания скворца, который бился в клетке своей, повторяя слова: «я не могу вырваться, я не могу вырваться», и, наконец, дошла до картины узника. Я видел только в зеркало ее лицо и замечал, как мало-помалу выражение его помрачалось, как останавливались глаза, трепетали ресницы и две крупные слезы блеснули, отражаясь свечою; обе эти капли упали на книгу. Я видел, как незнакомка испугалась, вытирала эти капли платком и сушила их своим дыханием. С тех пор я не расстаюсь со Стерном!

Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на святках, гадающая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если... если, это моя суженая?..

Незнакомка положила книгу, оперлась головою на руку и печально смотрела перед собою; по временам наворачивались новые слезы. Измаранный лист лежал вместе с книгою, карандаш подле. Это, конечно, значило, что читавший марал его и делал заметки при чтении. Путешественница подвинула к себе в рассеянии листок, но, как бы опомнясь, поспешно положила опять на место. Не менее того, я заметил, что он обратил ее внимание. Я видел, как глаза ее перебегали с фигуры на фигуру, со строчки на строчку; кажется, она хотела убедиться в незначительности бумаги. Наконец, она встала, взглянула на меня, прошлась по комнате и, сев снова, взяла

листок. На самом верху у меня было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземельев!»

Кажется, эта простая фраза пробудила воспоминание, ибо дала понятие о том, что неясно представлялось воображению незнакомки. Она подняла голову, посмотрела рассеянно перед собою и потом как будто какая-нибудь идея подстрекнула ее любопытство; она быстро встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам, закрывая посторонний свет, и, как бы усиливаясь проникнуть мрак ночи, старалась разглядеть башни замка. Но там ветер и дождь увеличивали темноту осенней ночи; она отошла, сказав: «Боже мой, какая темнота!», опять села и потом, занятая своею мыслию, в рассеянии прибавила довольно громко: «да это я слыхала!»

Лицо незнакомки было печально, она сидела, задумавшись, напоследок взяла опять измаранный лист, поворачивала его во все стороны, смотря по тому, как карикатуры, головки, цепи, набросанное изображение узника Стернова были нарисованы, и потом глаза ее остановились на следующем: «Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостью – но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где

бы можно было отнять мою совесть, – я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием – горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастьям, я не могу – я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастья!..»

Незнакомка опустила лист, облокотилась и, казалось, размышляла о написанном.

Меня очень занимала эта немая сцена; при сцеплении обстоятельств самых обыкновенных она сделалась для меня совершенно романической. Буря бушевала, дождь стучал в деревянную крышу, в которой некоторые доски, давно оторванные ветром, хлопали наперерыв со ставнями, ветер завывал в щелях, так что пламя свечи колебалось на все стороны, и между тем как хозяин и хозяйка в другой комнате спали крепким сном, прихрапывая под завыванье бури, мы с незнакомкой бодрствовали; любопытство в сердцах обоих было возбуждено.

Развернутая подорожная была брошена прямо перед незнакомкой. Она обратила на нее взоры, – слабый свет не позволял ей читать в таком отдалении. Любопытство и нерешимость боролись в ее прекрасных чертах. – «Возьми, милая незнакомка, – думал я, – здесь твое сомнение не может тебя беспокоить: это официальная печатная бумага, которую

читает каждый зритель; почему же тебе не узнать моего имени?...» Она конечно думала то же, взяла дорожную, прочла мое имя и вдруг обернулась ко мне с видом какой-то неожиданности, как будто желая удостовериться в моем тождестве с написанным именем.

Рука моя была отнята от лица. Путешественница взяла свечу, начала осматривать картинки по стенам и всякий раз, когда полагала, что свеча выгодно освещает меня, поворачивала ко мне свое прекрасное личико; но неверный свет и отдаление мало ей помогали. Она желала увериться, сплю ли я, и потому, поставив свечу на стул так, чтоб лицо мое было освещено, начала ходить взад и вперед, шевеля стульями, ступая на те половицы, которые более скрипели, – я не проснулся. Казалось, она убедилась в моей летаргии – взяла опять свечу, подошла к картинке, висевшей у самой кровати, потом оборотилась ко мне и неожиданно встретила мой взор – я глядел на нее во все глаза.

Медузина голова, я думаю, не произвела бы подобного действия, незнакомка оцепенела: как рука ее вытянулась со свечою, как она начала поворот, как ротик ее открылся в изумлении, как она закрыла рукою свои глаза – все это так и осталось! Я не мог удержать усмешки, встал, взял из рук свечу и подвел незнакомку к оставленному стулу. Она села в совершенном замешательстве, с лицом, закрытым рукою. Я накинул сюртук и сел напротив. Восемь лет тому назад я еще не испытал тех несчастий, которые провели по лицу мо-

ему глубокие борозды, потушили огонь глаз, изредили волосы, усыпав остальные сединою, и сделали стариком сорокалетнего человека, – и потому не думал, что испугалась моего безобразия. Я видел, что ей совестно своего любопытства.

– Какая ужасная погода, сударыня, – сказал я, сам не зная, чем прервать это неприятное для нас положение.

– Извините, что я так неучтиво разбудила вас, – сказала незнакомка, не подымая на меня глаз.

– Но я совсем не спал, сударыня! – Я хотел этим ответом уменьшить вину, в которой она сознавалась, но увеличил ее замешательство: она покраснела, скоро поправилась и отвечала улыбаясь: «Так это значит, что вы подсматривали за беспечною женщиной, которая думала быть одна, или, что все равно, со спящим человеком».

– Я имел на то полное право; я боялся за свою собственность. – Я сказал это, указывая на карикатуры, намаранные по всему листу.

Незнакомка улыбнулась, подняла на меня свои большие глаза и сказала: «Это правда, тут видно и ваше душевное богатство и то, что вы не любите ни с кем делиться им». Она провела пальцем под строками последнего замечания на листе, где говорилось, что я не хочу делить ни с кем своих несчастий.

Я смешался в свою очередь, однако кое-как отвечал:

– Не верьте людям, сударыня: часто их богатство состоит только в пышных фразах. Я собственным опытом убежден,

что часто человек, выдававший за час неизменным правилом свои слова, не в состоянии отвечать за себя, может ли, повторить их теперь с тою же уверенностью.

Мы замолчали оба. В эту минуту вошел слуга путешественницы и сказал, что он только сейчас нашел кузнеца, который, осмотрев карету, обещался исправить ее через час.

– Я думала, ты пришел мне сказать, что карета уже готова?

– Если бы не эта погода, сударыня, конечно мы бы уехали ранее; но ни один из этих мошенников ни за какие деньги не хочет разводить огня в кузнице. Этого одного только застал я за работой у горна.

– Хорошо, друг мой, постарайся же кончить скорее. – Слуга поклонился и ушел.

Это явление подало мне повод спросить у незнакомки, откуда она едет, – и мало-помалу мы узнали друг о друге достаточно, чтобы разговаривать о Петербурге, дороге, погоде и тому подобном, перемешивая это, время от времени, новыми вопросами; наконец, через четверть часа я узнал, что прекрасная путешественница недавно овдовела, была замужем только два года, спешит из Ярославля в Петербург к своей матери и что говорливая спутница взята ею для компании в дороге. Доверенность некоторого рода установилась между нами. Незнакомка хотела всячески оправдать свое любопытство. Она рассказала мне, что знакома с моим другом В., который много говаривал обо мне, что она посещала некоторые дома, куда я также вхож, и что, наконец, мои литератур-

ные произведения были ей известны из альманахов и журналов. «Я была убеждена, – продолжала она, – прочитав ваше имя в подорожной, что вы тот самый, который написал *об удовольствиях на море*».

Нельзя было не согласиться с убеждениями прекрасной женщины, что мои добродетели, о которых ей говорили, и даже литературная известность, возбудили ее любопытство. Не менее того, я благодарил ее, что она читала эти мелочи и помнила их. Это была большая редкость для женщин в том и в другом случае.

Между тем ветер ревел сильнее и пронзительнее, окна дрожали, в комнате было очень холодно, незнакомка куталась в свою шаль, но это не помогало; я, несмотря на то, что мало думая о тепле или холоде, начал вздрагивать; мне пришло в голову развести огонь на очаге, который выступал в нашу комнату; я сообщил свое намерение путешественнице, и она охотно согласилась со мною, что огонь в эту пору и в такую погоду очень кстати. Я вышел в комнату хозяйки, разбудил ее, объявил свое желание и после некоторых противоречий, что там никогда не разводят огня и проч., я велел мальчику, там спавшему, положить дров, открыть трубу и затопить. Все это было устроено, и в пять минут мы сидели с незнакомкой у небольшого огонька.

Здесь рассказал я в свою очередь, почему ночью на станции: описывал бурю, дождь, холод, выгоды теплой комнаты и, очень естественно, кончил советом не ехать в такую дур-

ную погоду; я думаю, продолжал я, что Анисья Матвеевна *говорила* правду, советуя вам оставаться здесь ночевать.

– Она очень убедительно *говорит*, но я этого не могу сделать. По последнему письму, полученному от матушки, и по почерку руки я заключила, что она нездорова, и потому дорожу каждой минутой.

– В таком случае отдаю полную справедливость вашему желанию и отступаю от совета; но не менее того, кажется, я говорю справедливо: что плохой огонь в камине приятнее хорошего дождя в дороге.

– Не совсем, особенно при обстоятельствах, сопровождающих мою остановку. Это завывание ветра неприятно в самом деле: послушайте, как страшно гудит в этой трубе; в дороге слышишь только крапанье дождя в крышу кареты. При том же близость этих башен пробуждает какую-то тоску; я проезжала несколько раз Шлиссельбург, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь... – она оглянулась на окно и, как будто боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал, отодвинула стул свой. Это движение, удалив ее от окна, приблизило ко мне; она продолжала вполголоса: – Теперь я чувствую это соседство. Ваш листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям!.. Вы ничего не слышали? – вдруг спросила меня, оторопев, незнакомка.

Мне показалось самому, что посреди рева стихий какой-то пискливый, жалобный голос простонал вблизи нас. Я прислушивался, но не слышал более ничего, кроме монотонного храпенья хозяев, заглушаемого стуком кровли и барабанным боем дождя в окошки. «Это ветер, – сказал я, – переменяет свои аккорды в трубе и щелях!»

– Станется, а может быть, это дух какого-нибудь страдальца, – сказала шутливо незнакомка, стараясь ободриться от своего страха, – здешние ужасы действительнее Радклиффовских⁵.

– Вы, конечно, боитесь духов и привидений? – спросил я в том же тоне.

– Не умею вам отвечать на это; мне никогда не случилось испытать своей отважности, но я чрезвычайно люблю страшные повести, рассказы, даже сказки о домовых, и в это время чувствую какой-то страх, который не менее того мне приятен. Я не верю этим вещам по рассудку, но, получив с детских лет склонность к чудесному от моих тетушек и нянюшек, неохотно расстаюсь с верою моего воображения, которое часто заставляет забывать невозможность призраков и тому подобного. Вы, господа мужчины, по большей части не имеете предрассудков и не верите привидениям: но зато вы лишаете себя большого наслаждения при рассказах, которые

⁵ *Радклиффовские ужасы* – производное от имени английской писательницы Анны Радклиф (1764–1823), представительницы так называемого «готического романа».

иногда так приятно волнуют нашу душу!

– Мужчины гораздо больше имеют способов и случаев поверять свои впечатления и чувствования. Особенно военная служба приучает нас ко всем действительным и воображаемым ужасам. Со всем тем, я знавал людей, достойных уважения по уму, храбрости и благоразумию, которые втайне жертвовали многим предрассудкам и вере в чудесное. Что касается собственно до меня, отец мой в малолетстве приучал меня ничего не бояться; сверх того, я тринадцати лет пошел в море и, следственно, должен был бросить все страхи, которые могли оставаться от детского возраста. В зрелых годах я имел случаи испытать, как неосновательны бывали слухи о чудесном, как они растут, переходя из рук в руки, и даже недавно обязанность по службе заставила меня выгнать домового из одного дома в том городе, где я жил.

– Выгонять домового по службе? – это очень странно, это очень любопытно. Если б я не боялась быть нескромною – впрочем, первый шаг к этому сделан, чтобы вы считали меня такою, – сказала она, краснея и улыбаясь, – я бы просила вас рассказать, как это случилось?

– Точно по службе, сударыня, и я охотно расскажу вам это, но только думаю, что рассказ человека, который сам не верит домовым, не доставит вам удовольствия. Вы любите впечатления чудесного: это впечатление может быть передано только тем, кто сам их ощущает. Мой рассказ будет прост.

– Нужды нет, лишь бы в происшествии было б что-нибудь

неспроста.

Я положил в огонь дров, снял со свечи и шутя заметил незнакомке, что в самом деле наше положение, час ночи и все окружающие обстоятельства очень благоприятствовали страшным рассказам. Время от времени весь дом будто трясся от порывов ветра, иногда, напротив, несколько секунд слышны были даже удары маятника в деревянных часах, висевших на стене; потом буря ревела вновь и снова раздавался храп пьяного зрителя и тучной его половины. Затем я начал:

«В 1819 году, в Кронштадте, где я служил, разнеслись слухи, будто в квартире одного купца домовый начал беспокоить постояльцев. Сперва узнали об этом соседи, потом начали многие толковать о проказах домового; наконец, весь город был на ногах, и квартира купца оказалась сборным местом любопытного и праздного народа, который божился, что видел – то, слышал – другое и что домовый действительно завладел жилищем бедного купца. Всего страннее было, что этот домовый не походил на других: он делал все каверзы днем и показывал свои фокусы пред всею публикою, которая сбегалась с любопытством и разбегалась с ужасом и рассказами во все концы города о страшном духе и его шалостях. Квартира эта была в доме народного училища, где верхний этаж был занят школою; а внизу в одной половине жил учитель, другую занимал несчастный купец с своим семейством. Учитель как ближайший сосед и как человек просвещенный

всех скорее и всех вернее мог исследовать причину несчастья купеческой квартиры и, вследствие собственного очевидного удостоверения, отпрапортовал в Петербург в Департамент народного просвещения, что на сих днях во вверенном ему доме училища завелся домовой, которого хотя он лично не видал, но шалости его так явны и беспокойны, что он решился, из опасения последствий, довести это до сведения высшего начальства и просить о помощи и покровительстве.

Пока рапорт ходил в Петербург, суматоха в доме увеличивалась. Сперва этот домовой, как и всякий другой из его собратий, довольствовался тем, что ночью сдергивал со всех одеяла или прятал платье хозяйки, щипал за нос и за бороду хозяина, сек розгами сына – лет одиннадцати мальчика, и щекотал служанку – лет четырнадцати девочку, заставляя ее хохотать благим матом, и после пропадал с петухами; но это было вначале; потом ночь за ночью проказы его увеличивались, наконец, самый дневной свет и все петухи, которых у купчика было до десятка, не могли прогнать его. Он кидал из-за темной перегородки поленьями, стучал в окошки, прижимал в дверях любопытных посетителей; сбивал с них шапки, насыпал песку в рукавицы. Иногда взорам изумленных прохожих представлялись чудесные явления: вдруг квашня, стоявшая на прилавке, начинала прыгать, качаться и со стуком падала на пол, и когда пугливые зрители отскакивали прочь от расплывшегося теста, у одного кафтан был

прибит гвоздем к двери, у другого носовой платок, выскочив из кармана, вздирался по стене до потолка, будто живой. В другое время заслонка в русской печи дрожала, как в лихорадке, и под музыку ее дрожанья горшок с кашею сам выдвигался из печи, каша высывалась из горшка, а за нею вываливалось множество ложек. Такое страшное зрелище поражало ужасом всех присутствующих; все бросались вон, а домовый, как сказывали они после, провожал их камнями, песком, а что всего хуже: обморачивал так, что они никогда не могли попасть в настоящую дверь с первого раза, а если и попадали, то она захлопывалась сама собою и непременно придавливала беглеца».

Такие происшествия и толки народа дошли до полиции. Пристав той части отправился сам свидетельствовать с своею командою навожденный дом. Несколько человек смелых посетителей, которых не мог еще выгнать домовый и которые при всем страхе дожидались каких-нибудь новых ужасов, испугались полиции более, нежели духа, и убежали. Двери заперли, поставили часовых; в доме осталась одна хозяйка с семейством и частный с городским унтер-офицером. Частный важно сел в кресло и начал расспрашивать хозяйку.

– Расскажи мне, любезная, – сказал он суровым голосом, – что за проказы делаются у тебя в доме?

«Хозяйка стояла перед ним, утирая передником заплаканные глаза: – „Не знаю, батюшка, за что бог послал такое наказание нашему дому. Вот уже третьи сутки и днем не ста-

ло нам покоя: с утра до вечера плачу и не знаю, как пособить горю. Муж стал со страху пить пуще прежнего, ребятишки голодны от того, что с этим навождением – буди с нами крестная сила! – нельзя ни спечь, ни сварить. Ты прибираешь *здесь*, а нечистый – господи прости мое согрешение – работает по-своему *там*; – ты пойдешь *туда*, а он очутится *здесь*. Видимо делает, а видом – не видать; ужас берет до чего-нибудь дотронуться: во всем его проклятая сила... Мати божия!..“ Хозяйка остановилась и закрыла глаза передником, дрожа от страха, потому что в эту минуту, под самым потолком, над головою частного, послышалось шорканье кофейной мельницы. Пристав взглянул наверх и в ту же минуту закрыл также глаза: оттуда сыпался молотый кофе; шорканье перестало.

Хозяйка выглядывала из-за передника, городской неподвижно стоял у дверей, частный, побледнев, верно с досады, бросился на другой стул».

– Где же у тебя более всего беспокойно? – спросил он с приметным движением.

– Сказать не могу, батюшка; из всего дома гонит, но больше в двух комнатах: вот за этой перегородкой и там, в темной кухне.

– Надобно осмотреть это, Лоботрясов, – сказал частный городовому.

– Во власти вашей, – отвечал тот, – извольте осматривать.

Пристав хотел подняться со стула; хозяйка начала расска-

зывать разные подробности о проказах домового. Надобно было выслушать все обстоятельно, и всякий раз, когда частный пристав хотел вставать, являлись новые случаи страшнее первых, и частный опять садился. Видно было, что желание исправности в исполнении долга боролось с желанием узнать все подробности дела. Хозяйка старалась всячески удовлетворить последнему и рассказывала истории одна другой ужаснее; время проходило, частный уже потерял охоту вставать; наконец, городской раскрыл свой безмолвный рот:

– Надобно осмотреть, ваше благородие, – сказал он.

– Осмотри, Лоботрясов.

– Да что же я без вашего благородия сделаю? пожалуйста и вы; ваше дело подвластное, мы не можем без командира.

– Да я должен выслушать от хозяйки еще кое-что, ведь это все к делу.

– Пора с рапортом, ваше благородие.

Частный встал нерешительно, велел Лоботрясову идти вперед; правая его рука что-то шевелилась за пазухою под мундиром; хозяйка сзади крестилась.

Дверь в роковую кухню была отворена, городской вошел довольно смело, обернулся на все стороны. «Ничего нет, ваше благородие», – сказал он, выходя проворно из другой двери; частный вошел – и вдруг двери за ним запахнулись, слышно было, как он пыхтел, и чрез несколько секунд он выскочил из противоположных дверей весь обсыпанный мукою; маленький рогожный кулек висел у него сзади на пу-

говке, как ключ у камергера.

– Пойдем с рапортом, Лоботрясов, – вскрикнул частный и выбежал на улицу, но он неверно рассчитывал на свои силы: дошедши до дому, он сделался очень болен и должен был послать письменный рапорт к полицеймейстеру с городовым.

«Итак, домовой продолжал свои шутки, слухи о том дошли до высших сословий общества; много порядочных людей шли осматривать навожденный дом. Инженерный полковник был из числа любопытных; с ним случилось едва ли не хуже, чем с приставом: домовой загонял его в темной кухне, и когда на жалобные стоны некоторые решительные люди осмелились посмотреть, что с ним сделалось, то увидели его на столе в углу: он держался или, лучше сказать, повис рукою на гвозде, вбитом в стену для маленького медного образа; одна нога была поднята, с другой стащена ботфорта до половины, обе шпоры были потеряны. Его насилу могли отцепить – так замерла рука, – и это был новый, обращенный в бесовскую веру».

В эту минуту раздался громкий звук в другой комнате; незнакомка, слушавшая меня со вниманием, вздрогнула: «что это?» – спросила она с беспокойством.

Я встал, заглянул в двери и отвечал: «это хозяйка уронила с ноги туфель, сколько я могу рассмотреть при нагоревшей свече. Она спит, нераздетая, на своей кровати». За этими словами последовал такой сильный порыв ветра, что весь дом затрясся; в то же время послышался опять глухой, жа-

лобный и тонкий голос.

Незнакомка побледнела – глаза ее безмолвно спрашивали меня.

– Это ветер, это дух бури воет в трубе, – сказал я, смеючись, и сел, поправляя огонь.

– Мы часто в море, – продолжал я, – слышим музыку страшнее этой; снасти мачт в бурю представляют настоящую эолову арфу, рев ветра в толстые канаты и свист его в тонкие веревочки составляют совершенную гармонию со скрипом корабля и шумом волн.

– В самом деле, я думаю, что это ветер, – отвечала она, оправляясь; – прошу вас – продолжайте вашу историю.

«Итак, домовый занимал весь город; одни рассказывали его чудеса, другие этому смеялись. В это время военный губернатор, вследствие учительского рапорта, о котором у нас никто и не знал, вдруг получил из Петербурга отношение, где спрашивалось, – что такое сделалось с домом и какой домовый овладел им? Полициймейстер был болен, один частный захворал, как я уже сказал, другой был в отлучке, а низшие чиновники решительно объявили, что они скорее оставят службу, чем будут принимать какие-нибудь меры против домового.

Губернатор прежде смеялся этой истории, но когда получил отношение, надобно было узнать обо всем подробнее. Мне случилось в то время быть при нем. Он позвал меня. Инженерный полковник и несколько полицейских офицеров

были у него и с клятвою уверяли о достоверности случая; полковник рассказывал про свое несчастье.

Губернатор спросил меня, смеючись, не боюсь ли я чертей, и на мое отрицание велел мне выгнать из дому домового.

Я отправился осмотреть хорошенько дом и, когда пришел в купеческую квартиру, нашел там несколько посторонних и священника с причетом, которого хозяин решился позвать, как последнее средство для изгнания нечистой силы.

Священник сидел, разговаривая о том; хозяйка перечисляла ему все обстоятельства, все случаи, прихожие подтверждали собственным свидетельством; дьячок зажег лампаду перед образом, налил воды в тарелку для окропления, поставил свечи; наложили углей в кадило, повешенное на гвозде подле стола, – я замечал кругом.

Наконец священник приступил к служению молебна и начал словами: „Благослови, боже, нас всегда ныне и присно и во веки веков“, но только он это выговорил, пламя в лампаде высоко поднялось и угасло с треском; священник остановился, приметно смешался, но велел зажечь ее снова и продолжал службу. Когда же между пения он произнес окончание молитвы „превеликое имя твое, спасе, на небеси одесную отца сидящу ти почитается, на земле же неизреченное твое воплощение ставится; во аде же сошествие бесы устрашает; от них же и нас избави Христе боже и спаси нас“, дьячок в эту минуту, раздув угли, подал ему кадило, и только священник взял его в руки – вдруг оно вспыхнуло, будто порох, угли вы-

бросило вон; на тарелку с водою посыпался песок, несколько поленьев полетело из-за перегородки в предстоящих – священник отскочил от ужаса»...

Вдруг из трубы нашего очага посыпался на огонь также песок; мы встали – я смотрел вверх... пронзительный визг раздался – и вдруг с шорохом и шумом что-то покатилося по трубе, упало на огонь и засыпало его; облако пыли и золы покрыло нас, угли разлетелись по комнате... незнакомка вскрикнула и упала без чувств мне на грудь...

В первую минуту я не знал, что думать о случившемся, но через несколько мгновений увидел посреди кирпичей и соломы, в дыме курящихся головешек, стоящего аиста, чье гнездо я видел на трубе при въезде в Шлиссельбург. Ани-сья Матвеевна спросонья крестилась обеими руками, сидя в страхе на софе. Хозяйка прибежала, остановилась в дверях, раскрыв рот и размахнувши руками от удивления и ужаса. Я держал бесчувственную незнакомку в руках.

Сердце мое билось, сильно билось! – я потерялся совершенно; вместо того, чтобы отнести незнакомку на кровать, сам не знаю, каким образом сел на стул и легонько опустил ее на колени. Голова ее лежала на моей груди, в которую какой-то электрический ток лился жгучими струями; я вдыхал в себя благовоние ее волос; чувства мои разделялись между состраданием и удовольствием... О, как милы трусливые женщины!

Я тер виски, легонько колотил по ладоням незнакомки, и

прежде нежели хозяйка и Анисья Матвеевна опомнились – она пришла в себя.

Бледность обморока уступила место живой краске, когда она увидела свое положение и стоящих около нее женщин; я помог ей, когда она сделала движение встать; но в ту же минуту должен был посадить снова на стул. Глаза ее обратились по причине испуга, и она со страхом увидела огромную птицу, которая величественно посреди очага глядела с изумлением на около стоящих. Я объяснил ей, что гнездо, свитое над трубою, не могло выдержать силы ветра и дождя и что бедная птица, обеспокоенная сверху бурей, снизу жаром и дымом, провалилась к нам сквозь широкую трубу.

Анисья Матвеевна начала ахать и рассказывать, что *она говорила*; хозяйка, ворча, хотела взять несчастного аиста и выбросить на улицу – но незнакомка заступилась: «пусть он останется с нами, – сказала она, – если несчастье заставило его искать нашего покровительства».

Мало-помалу все пришло в старый порядок; Анисья Матвеевна дремала и бормотала, хозяйка ушла. Аист улегся на развалинах своего гнезда, мы с незнакомкою сидели подле стола молча; она не могла собрать рассеянных своих сил, я не хотел расстаться с приятным впечатлением.

– Ваш рассказ расположил меня к этому испугу, – сказала незнакомка нетвердым голосом, но стараясь победить свое замешательство.

– Я вполне виноват, сударыня, хотя, впрочем, нарочно

так рассказывал, чтобы вы видели более смешную, нежели страшную сторону происшествия.

– Мое воображение забегает вперед вашего описания и видит только одни страхи. Но простите моему любопытству: чем же кончилось это происшествие?

Видно было, что незнакомка желала этого только для того, чтобы скрыть свое смущение, я, с своей стороны, потрясенный во всем составе, не в состоянии был рассказывать сколько-нибудь занимательно. Если незнакомка сделала на меня приятное впечатление до испуга, то этот аист расстроил меня совершенно. Даже и теперь я не могу думать об этом без душевного волнения. Я всегда был неловок с женщинами, а в то время все мои покушения поправиться оставались бесполезными. Я продолжал рассказ, сбивался и в коротких словах передал конец истории почти так:

«Священник не мог дослужить молебна и ушел в замешательстве. Я замечал все явления и ежели не совсем, то отчасти догадался о причине. Мне казалось, домовый – сама хозяйка, но как она отвечала только слезами на мои вопросы, то я захотел употребить к тому некоторое принуждение, я объявил хозяевам о приказании, мне данном, и вследствие того расположился у них в тесной квартире с десятью чело-
веками матросов, будто бы для наблюдения за проказами нечистого. Между тем запретил людям своим всякую обиду хозяевам; я велел им курить как можно более табаку, петь песни, пить вино и делать как можно более шуму. Завладев

таким образом квартирую, я объявил хозяйке, что не выйду из дома до тех пор, пока не выживу домового. Военный народ, особенно если дашь ему свободу, едва ли не беспокойнее всякого демона, а потому через ночь, проведенную нами в мире и тишине с домовым, в тесноте, шуме и песнях с домашними, хозяйка пришла просить меня, чтоб я оставил ее в покое, и что, как ей кажется, шутки домового прекращаются. Я повторил приказание, данное мне начальством, – не оставлять до тех пор ее квартиры, пока не узнаю лично домового, и потому хозяйке оставался выбор или терпеть шум и толкотню от матросов, или признаться в своей комедии, и потому она, при помощи нескольких вопросов и убеждений с моей стороны, решилась на последнее и рассказала мне вот что:

Муж ее довольно достаточный купец, выстроил себе новый дом, но по скупости, вместо того, чтобы спокойно жить в нем, оставался в тесной и сырой наемной квартире; сверх того, в нем увеличивалась охота к пьянству и бражничанью с подобными ему гуляками. Сколько хозяйка ни убеждала его перейти в новый дом и перестать пьянствовать, он не слушался и не унимался; тогда пришла ей мысль выжить его из квартиры и поугатать выдумкою домового. Несколько опытов было сделано: суеверный и напуганный купец объявил об этом всему гостинному двору, повторение жалоб его привело любопытных, и наконец хозяйке уже надобно было разыгрывать публично комедию, сочиненную для домашне-

го представления. Она показала мне все приборы, ею придуманные: они состояли в веревочках с крючками, продетых неприметно в разных местах двух темных комнат: кухни и отделения за перегородкою, откуда с высокого шкафа, промежду резных фигур переборки, помощники ее, сын и девочка служанка, сыпали кофе, порох, песок, бросали поленья и прочее. Все это было очень не замысловато; всего мудренее для меня казалось искусство, с каким двое детей помогали хитрой женщине, с каким притворством играли они роли свои и, наконец, легкое верие людей, позволявших себя обманывать грубыми и простыми средствами, которые приметны были при малейшем внимании.

Казалось в этом случае, что люди, приготовленные верою к чудесному, не хотели нарочно примечать обмана и желали видеть только то, что им нравилось. Даже когда я рассказывал полковнику и частному приставу, каким образом их легкое верие было обмануто, — они качали головою и, не могли спорить против очевидности, но все еще не расставались со своим убеждением и поговаривали после между собою, что я или хвастал, или сделал это неспроста».

Я рассказывал это очень неловко: повторял, забывал, в голове у меня вертелось совсем другое: мне все казалось, что душистые локоны незнакомки касаются моих губ, — и слова замирали на губах; что голова ее лежит на моей груди, — и дух у меня занимался; когда же она устремляла на меня из-под длинных ресниц свой задумчивый взор — я совсем терялся...

Мне казалось, что незнакомке было неловче моего, может быть от той же причины, но что приносило удовольствие мне, то могло напомнить ей неприятное положение. Наш разговор был перерывчив и несвязен, учтивость с обеих сторон удвоилась, но не менее того я чувствовал, что эта учтивость не отзывалась холодностью и напротив имела с ее стороны что-то обязательное.

Таким образом прошло около получаса; мы мало-помалу начали было нападать на прежнюю дорогу, вдруг старый слуга незнакомки явился в дверях с докладом, что карета готова.

– Боже мой! – вскрикнул я с невольною живостью. Незнакомка покраснела, потупила глаза, взяла свою шляпу, медленно надела перчатки и пошла будить спящую компаньонку. Я хотел говорить, вертел несколько фраз о том, с каким удовольствием провел это время, как оно пролетело и проч., и ничего не мог выговорить, одним словом, сцена происходила молча, я велел смотрителю запрягать моих лошадей.

Наконец, все было готово. Незнакомка видела мое замешательство и сказала мне тихим голосом:

– Благодарю вас за приятно проведенное время, за ваш рассказ. Извините, что я два раза потревожила вас и моим любопытством и моим глупым страхом.

Я комкал свою фуражку, не знал, что говорить, но помнится, будто с жаром сказал, что охотно отдал бы жизнь за эти беспокойства. Бывают со всяким человеком глупые ми-

нуты, но не думаю, чтобы кто-нибудь в эти минуты мог быть столько глуп и неловок, как я! Я не подал ни салопа незнакомке, ни отстранился от Анисьи Матвеевны, которая, по своему обычаю, *говорила* и суетилась; я стоял, как вкопанный, и потом, вспомнив, что учтивость требует проводить незнакомку до кареты, бросился, как безумный, толкнул снова компаньонку и очутился опять пред незнакомкою, которая, дошед до порога, остановилась как бы в нерешимости, потом оборотилась ко мне и сказала:

– Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя, в дороге знакомство скоро делается, не правда ли, что мы уже знакомы? – продолжала она, сняв перчатку и подавая мне руку с улыбкой.

– Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, – отвечал я, – есть люди, которых образ давно знаком нашей душе и воображению. – Я не смел сказать – сердцу, хотя бы сказал справедливее.

– Итак, вот мое имя, – сказала она, вынимая из ридикуля письмо, с которого, сняв обертку, подала мне.

Сказав это, она спорхнула, как птичка, с крыльца и влетела в карету; ее рука едва касалась моей, когда я помогал ей садиться; я посадил также увесистую Анисью Матвеевну, которая бухнула подле нее, крестясь и проклиная дорогу, – и карета покатилась.

Ветер продувал, дождь лился на меня рукой, я стоял на крыльце, как будто мое тело потеряло способность двигаться

без души, полетевшей за каретою.

Через четверть часа уехал и я.

В этот раз ни буря, ни дорога, ни толчки не могли остановить моего воображения.

Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением; того ли ты хотел? Да.

Итак, я поеду к ней – буду стараться заслужить взаимность, любовь, и если она даст мне руку, какое счастье! – как я обрадую матушку!

Так мечтал я, забывая все на свете, – и действительно, я заранее был счастлив. Но вдруг мысль о превратностях судьбы, ожидающих меня в будущем, опрокинула все мои воздушные замки.

Рассудок говорил против, – вероломное сердце твердило за себя. Наконец рассудок восторжествовал: «я не поеду к ней – я не хочу ее сделать несчастною». Это было последнее мое решение – и я сдержал его!..

По возвращении в Петербург борьба с самим собою мне становилась тяжеле и тяжеле. Мать моя не переставала убеждать меня. Случай привел меня часто встречаться с милою путешественницею; в первый раз она сделала мне выговор, в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое-то вопросительное выражение ее глаз; это меня мучило – я любил ее, – что она должна была обо мне думать? Кто мог ей объяснить загадку моего поведения?..

Матушка моя осталась при своем желании, а я остался
одиноким в этом мире!